

В. В. Ерофеев

Москва-Петушки

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
В11

В11 **В. В. Ерофеев**
Москва-Петушки / В. В. Ерофеев – М.: Книга по Требованию, 2023. – 62 с.

ISBN 978-5-458-25693-3

В одном из своих последних интервью Венедикт Ерофеев сказал, что больше всего из написанного им, ему нравится "Москва-Петушки". "Читаю и смеюсь, как дитя. Сегодня, пожалуй, так написать не смог бы. Тогда на меня нахлынуло. Я писал эту повесть пять недель...".

ISBN 978-5-458-25693-3

© Издание на русском языке, оформление
«УОУO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

люстра. Очень тяжелая мысль...

Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес, если ты уже похмелился – не такая уж тяжелая это мысль... Но вот если ты сидишь с перепоею, и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают – вот это уже тяжело... Очень гнетущая мысль. Мысль, которая не всякому под силу, особенно с перепоею.

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 граммов хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и...

– Ну как, надумали? Будете брать что-нибудь?

– Хересу, пожалуйста. 800 граммов.

– Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком: нет у нас хереса!

– Ну... Я подожду... Когда будет...

– Жди-жди... Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!

И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть...

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навывпуск, когда он малодушен и тих! Почему так?! о, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив и был бы также ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом – как хорошо было бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы мне прежде показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» – да ведь где это спасение ото всех бед, эта панацея, этот предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры...

– Кому здесь херес?!

Надо мной – две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них – о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности – я это понял по ним, по их глазам, потому что в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие... Я весь как-то сник и растерял душу.

– Да ведь я... Почти и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подожду, я так...

– Это как то есть «так»?.. Чего это вы «подождете»?!

– Да почти ничего... Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке (ха-ха! К «любимой девушке») – гостинцев вот купил...

Они, палачи, ждали, что я еще скажу.

– Я ведь... Из Сибири, я сирота... А просто, чтобы не так тошнило... Хереса хочу.

Зря я это опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал – о, боль такого позора! – через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами – тоже вытолкнули.

Опять на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!

Москва. К поезду через магазин

Что было потом – от ресторана до магазина и от магазина до поезда

– человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы – они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так – давайте почти минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Венечка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни – помни о них. В минуты блаженства и упоений – не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания:

«Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почти минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь заваливающий гудок – нажмите на этот

гудок».

Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, смутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди – тоже, и смотрят так дико: думают, наверное, – изваять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся ниоткуда:

«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная. Далее по всем пунктам, кроме Есино».

А я продолжаю стоять.

«Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная. Далее по всем пунктам, кроме Есино».

Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «ведь ты из магазина, Веничка?»

– Да, говорю я вам, – из магазина. – а сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.

– Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

– Ну, это как сказать! – говорю я, склонив голову вправо.

– Чемоданчик, точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано...

– Так что же, Веничка, что же ты, все-таки, купил? Нам страшно интересно!

Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас вспомню. Да – розовое крепкое за рупь тридцать семь.

– Так-так-так, – говорите вы, – а общий итог? Ведь все это страшно интересно...

Сейчас я вам скажу общий итог.

– Общий итог – девять рублей восемьдесят девять копеек, – говорю я, вступив на перрон. – но ведь это не совсем общий итог. Я ведь купил еще два бутерброда, чтобы не сблевать.

– Ты хотел сказать, Веничка: «чтобы не стошнило?»

Нет, что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить может и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

– Зачем? Опять стошнит?

– Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать – сблюю.

Вы все, конечно, на это качаете головами. Я даже вижу – отсюда, с мокрого перрона, – как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головами и беретесь иронизировать:

– Как это сложно, Веничка, как это тонко!

– Еще бы!

– Какая четкость мышления! И это – все?! и это – все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше – ничего?

– Ну как, то есть, – ничего? – говорю я, входя в вагон. – было б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь...

Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.

– О-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

Ну, так что же? Пусть примитив – говорю. И на этом перестаю с вами разговаривать. «Пусть примитив!» а на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. «Пусть примитив!»

А вы все пристааете:
– Ты чего? Обиделся?
– Да нет, – отвечаю.
– Ты не обижайся, мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?

Тут уж я совсем обижаюсь: да причем тут водка?

«Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино». В самом деле, при чем тут водка? Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там не было. И в подъезде, если помните, тоже прижимал, а водкой там и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать – я вам все расскажу, погодите только. Вот похмелюсь только на Серпе и Молоте и...

Москва – Серп и Молот

И тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю! Ну конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который не успел похмелиться! Зато по вечерам – какие во мне бездны! – если, конечно, хорошо набратся за день – какие бездны во мне по вечерам!

Но – пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий – он очень дурной, этот человек. Утром плохо, вечером хорошо – верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот – если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение – это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю, как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и вос ходу они рады, и заходу тоже рады – так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно – и утром, и вечером, – тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченный подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а елисейский – тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны...

Итак, что же я имею?

Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал – и вдруг затомился я весь и поблек... Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, господи, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь...

И весь в синих молниях, господь мне ответил:

– А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

– Вот-вот! – отвечал я в восторге. – Вот и мне, и мне тоже

– желанно мне это, но ничуть не нужно!

«Ну, раз желанно, Веничка, так и пей», – тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне господь еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал.

Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, господи!

Серп и Молот – Карачарово

И немедленно выпил...

Карачарово – Чухлинка

А выпив – сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, как долго я чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность – так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял бога моего не обижать меня.

И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова мой бог не мог расслышать мою мольбу, – выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился.

И вот только у Карачарова мой бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары... Да.

Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми и как-будто ничем не занятыми глазами...

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается:

...Глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза... Девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья, с неутраченной заботой и мукой – вот какие глаза в мире чистогана...

Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навьют, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (какая духовная мощь!) эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы не случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им все божья роса...

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал?.. Кувыркнулся из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?

Ну, да впрочем, пусть. Если кто и видел – пусть. Может, я там что репетировал? Да... В самом деле. Может, я играл бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя

– о, такое нашептал! – и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, – я принял себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?..

Вон – справа, у окошка – сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуйста – никого не стыдятся – наливают и пьют. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крикнет и говорит: «а! Хорошо пошла, курва!» а умный-умный выпьет и говорит: «транс-цен-ден-тально!» и таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусьивает и говорит: «заку-уска у нас сегодня – блеск! Закуска типа „я вас умоляю“!» а умный-умный жует и говорит: «да-а-а... Транс-цен-ден-тально!...»

Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли – мавра или не мавра? Плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром... «закуска типа „я вас умоляю“!»

...я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью – прячусь. Во время работы пью – прячусь... А эти!! « транс-цен-ден-тально!»

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность, мое детство и отрочество... Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного – сколько раз это губило меня...

Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.

Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то отстраняют меня от себя, как-то шепчутся, на меня глядя, смотрят за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно. И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх... «в чем дело? – терзался я, – отчего это так?»

И вот – наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал.

И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают – двое сели на стулья у изголовья, а двое – в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну... Не иначе, как что-то случилось...

– Послушай-ка, – сказали они, – ты это брось.

– Что «брось»?.. – я изумился и чуть привстал.

– Брось считать, что ты выше других... Что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред...

– Да с чего вы взяли!..

– А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

Чухлинка – Кусково

– Пил.

– Много пил?

– Много.

– Ну, так вставай и иди.

– Да куда «иди»?

– Будто не знаешь! Получается так – мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред...

– Позвольте, – говорю, – я этого не утверждал...

– Нет, утверждал. Как ты поселился к нам – ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а отсутствием этого дела. Ты негативно это утверждаешь...

– Да какого «дела»? Каким «отсутствием»? – я уж от изумления совсем глаза распахнул...

– Да известно, какого дела. До ветру ты не ходишь – вот что. Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор, как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну ладно – по большой нужде, еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой... Даже по малой!

И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленным.

– Нет, ребята, вы меня неправильно поняли...

– Нет, мы тебя правильно поняли...

– Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеулышание: «ну, ребята, я ...ать пошел!» или «ну, ребята, я ...ать пошел!» не могу же я так...

– Да почему же ты не можешь! Мы – можем, а ты – не можешь! Выходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты, как лилея!..

- Да нет же... Как бы это вам объяснить...
- Нам нечего объяснять... Нам все ясно.
- Да вы послушайте... Поймите же... В этом мире есть вещи...
- Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет...

И я никак не мог их ни в чем убедить. Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу... Я начал сдаваться.

– Ну, конечно, я тоже могу... Я тоже мог бы...
– Вот-вот. Значит, ты – можешь, как мы. А мы, как ты, – не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы, как плевки у тебя под ногами...

– Да нет, нет, – тут уж я совсем запутался. – в этом мире есть вещи... Есть такие сферы... Нельзя же так просто: встать и пойти. Потому что самоограничение, что-ли?.. Есть такая заповедность стыда, со времен Ивана Тургенева... И потом – клятва на Воробьевых горах... И после этого встать и сказать: «ну, ребята...» как-то оскорбительно... Ведь если у кого шепетильное сердце...

Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих.

– Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся. Сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?

– Пил.

– Сколько кружек?

– Две больших и одну маленькую.

– Ну так вставай и иди. Чтобы мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди.

Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «с такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным».

Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы бога, но для чего он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не знаю. А это целомудрие – самое смешное! – это целомудрие толковалось так навыворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности.

Например, в Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так:

– А вот это тот самый знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул...

– Как!! ни разу!! – удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. – ни ра-зу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

– Ну как то есть ни разу! Иногда... Все-таки...

– Как!! – еще больше удивляются дамы. – Ерофеев – и... Странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь и говорю примерно так:

– Ну... А что в этом такого... Я же... Это ведь – пукнуть

– это ведь так ноуменально... Ничего в этом феноменального нет

– в том, чтобы пукнуть...

– Вы только подумайте! – обалдевают дамы.

А потом трезвонят по всей петушинской ветке: «он все это делает вслух и говорит, что это не плохо он делает! Что это он делает хорошо!»

Ну вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар – кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет – «превратно» бы еще ничего! – но именно строго наоборот, то есть, совершенно по-свински, то есть, антиномично.

Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все – я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как меня неделю назад сняли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков». Все наше

московское управление сотрясается от ужаса, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут ужасного, казалось бы!..

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю следовало бы мне еще раз выпить, но уж я лучше сначала вам расскажу,

Кусково – Новогиреево

А уж потом выпью.

Итак. Неделю назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад – назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что и вводил, так и поперли меня все-таки не за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем, и кабель укладывали под землю. А потом – известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент. Один – вермут пил, другой, кто попроще,

– одеколон «свежесть», а кто с претензией – пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: сначала садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом – что же? – потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг-друга: «Леха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» вставали, доигрывали в сику. А потом – ни свет, ни заря, ни «свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А уж потом – каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой – пили вермут, на третий день опять в сику, на четвертый

– опять вермут. А тот, кто с интеллектом – тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабана мы, конечно, и пальцем не трогали, – да если бы я и предложил тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, а потом били бы меня кулаками по лицу, ну, а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «свежесть».

И до времени все шло превосходно. Мы им туда раз в месяц посылали сообразительности, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге: в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-ой комнаты даян эбан?» а тот отвечает с самодовольною усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плечи и неозаренные туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, – сказал, – вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? Они прочли. Но, вопреки всему, она сказала на них удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт,

– и восторжествовала «свежесть», все пили только «свежесть».

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше соломона одетые полевые лилии! – они выпили всю «свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что господь бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков – известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян и Абба Эбан!..

И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня, наконец-то, и поперли...

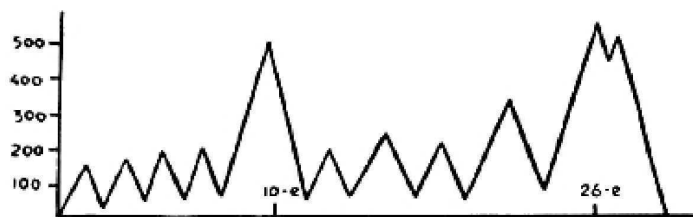
Новогиреево – Реутово

Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленовой бумаге черной тушью рисуются две оси

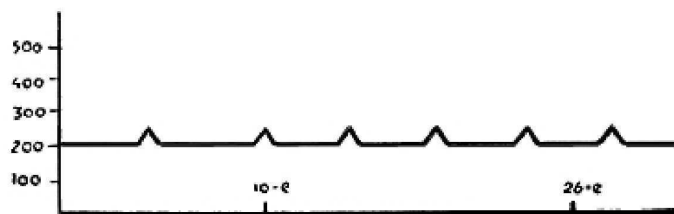
– одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов в перерасчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером – величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.

Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой

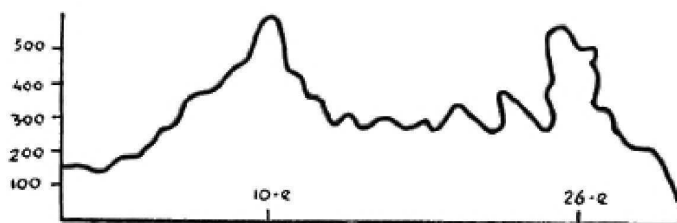
– столько-то и того-то. А я, черной тушью и на веленовой бумаге, изображаю все это красивую диаграмму. Вот, любуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:



А это – Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., потрепанный старый хрен:



А вот уж это – ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников птурс, автор поэмы «Москва – Петушки»:



Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда – интересные? У одного – Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел.

У другого: предрассветный бриз на реке Кама, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего – биение гордого сердца, песня о буревице и девятый вал. И все это – если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну, мне, например) эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущерб, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я рассматривал теперь со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал; в один злосчастный день у меня с рабочего стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось, эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, – и, сдуру или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже – получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на москвиче в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика; Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось – ровно через тридцать дней после вознесения. Один только месяц – от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, и на мое место назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 г. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь – они ему рупь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рупь – они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой москвич и уехали обратно.

И вот – я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы – по плевку. Чтoб по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой.

Как бы то ни было – меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня

– снизу
– сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху – лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс – послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

– Фффу!
– Кто сказал «фффу»? Это вы, ангелы, сказали «фффу!»?
– Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!
– Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого, не сказать, чтоб очень просыхал, но, во всяком случае, я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить... У меня все полосами, все в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом сорок дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха... Вот и теперь...

– Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце...
– Да, да, в тот день мое прекрасное сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «тебя обидели, тебя сравнивали с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся, как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? – он брюзжал и упорствовал: «ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться, как сука, а выпей четыреста граммов и завязывай». «Никаких граммов! – отчеканивал рассудок. – если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива; а о граммах своих, Ерофеев, и помнись забудь». А сердце заныло: "ну хоть двести граммов. Ну..."

Реутово – Никольское

ну, хоть сто пятьдесят..." и тогда рассудок: «Ну хорошо, Веня, – сказал, – хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома».

Что ж вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках – твое спасение и радость твоя, поезжай.»

«Петушки – это место, где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех – может, он и был – там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен...»

«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета – белого, переходящего в белесый – эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше, чем через два часа, будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной – о, вы такое увидите!..»

«Да и что я оставил – там, откуда уехал и еду? Парудохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы – вот что оставил! А что впереди? Что в Петушках, на перроне? – а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона – зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»

"А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, – там совсем другое, но то же самое: там, в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой,